

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСШИХ ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. Е.М.МЕЛЕТИНСКОГО

Международная научная конференция

**Советский дискурс в современной культуре - XIX.
Советский космос - претексты и контексты
(тезисы и приложения)**

16 сентября 2026 г.

*Оргкомитет: Н.Г. Полтавцева (организатор проекта и модератор конференции),
С.Д. Серебряный, Е.Е. Жигарина, А.И. Иваницкий*

Памяти Константина Богданова



К.Ф. Юон. Новая планета.
1921 г.

Картон, темпера. 101× 71, ГТГ.

Олеся Владимировна Туркина

Санкт-Петербург, Отдел новейших течений Русского музея

Советский космос и искусство: аспекты взаимодействия (тезисы)

Тема космоса была принципиально важна для русского авангарда, но о рождении советской космической эстетики можно говорить накануне и на первых этапах его практического освоения. С одной стороны, на ней повлияла техническая эстетика образов будущих ракет и космических станций, создаваемых в 1950-60-х иллюстраторами научно-популярной и научно-фантастической литературы, которыми зачастую становились инженеры-конструкторы, такие, как, например, Николай Кольчицкий. С другой стороны, космос был сквозной темой советского кинематографа, формировавшего его убедительный и по возможности научно обоснованный образ. Одним из главных художников, осваивавших космическое пространство, начиная с «Космического рейса» (1935) режиссера Василия Журавлева стал Юрий Шве́ц. Знакомство с Константином Циолковским, которого пригласили консультантом первого кинофильма, давшего начало будущей советской космической саге, следования техническим подробностям и указаниям ученого, представлявшего, как именно все будет выглядеть, все это позволило и тогда, и в дальнейшем в 1950-60-х Шве́цу сделать наглядными подробности освоения космоса. Особое место занимает сотрудничество художника с кинорежиссером Павлом Клушанцевым, которое началось с работы Шве́ца над научно-популярным фильмом «Вселенная» (1951). Для кинофильма «Луна» (1965) Шве́ц создал декорации Луны, освоенной человеком. Художник следовал техническим указаниям кинорежиссера, который, как и Циолковский, обращал внимание на технические подробности и знал, как все должно было выглядеть. Если в «Космическом рейсе» звездоплыватели прилетали на ещё необжитую Луну, то через тридцать лет Юрий Шве́ц застроил лунный пейзаж модулями, предназначенными для людей, работающих на Лунной базе, научными и производственными центрами, подвесными рельсами, связывающими между собой различные учреждения. Лунная программа была приоритетной в СССР вплоть до смерти академика Королева, с которым Клушанцев, по его воспоминаниям, встречался, когда закончил фильм «Луна». В это

же время шла детальная разработка Долговременной лунной базы под руководством архитектора Владимира Бармина, начавшаяся в 1964 году, о чем ни Клушанцев, ни Шве́ц не могли знать из-за засекреченности космических проектов. При всем отличии «Барминограда» (так неофициально называли долговременную лунную базу) от лунной архитектуры Клушанцева и Шве́ца, у этих проектов есть нечто общее. Их объединяет не только жизненная необходимость приспособиться к лунным условиям, но и эстетика 1960-х годов, вдохновленная эпохой НТР, идеями космической экспансии и началом практической космонавтики. Шве́ц работал над такими кинофильмами, как «Небо зовет» (1959, режиссеры Александр Козырь и Михаил Карюков) и «Мечте навстречу» (1963, режиссеры Михаил Карюков и Отар Коберидзе), создавая масштабные декорации с космической техникой и впечатляющими панорамами других планет. Он также писал картины на космическую тему.

Вместе с началом космических полетов в эпоху научно-технической революции космос стал восприниматься художниками как одна из возможных сфер применения искусства. Основатель СКБ «Прометей», художник и теоретик светомузыки Булат Галеев в 1960-х годах создавал кино-авангардные «космические сонаты». Считается, что Королев, вдохновленный светомузыкой, описанной в романе Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (1957), заинтересовался деятельностью СКБ «Прометей». Однако, предложение поработать на космос поступило художнику уже после смерти Королева. Галеев создал «Проекционно-растровый светомузыкальный индикатор» (1972), который должен был помочь во время полета находить неисправности в оборудовании, а также специальный прибор для борьбы с длительной сенсорной депривацией. Предполагают, что один из индикаторов был отправлен в космос. Архитектора Август Ланин по заказу Института медико-биологических проблем Академии наук СССР в 1970-х сделал проекты интерьеров релаксационных помещений орбитальных станций и цветомузыкальных установок в космическом пространстве, призванных решить проблему сенсорной депривации космонавтов при длительном пребывании в космосе, и эскизы объектов неутилитарного значения на поверхности Луны и в открытом космосе. Пионер советского кинетизма, участник группы «Движение» и основатель группы «Мир», художник-изобретатель Вячеслав Колейчук, спроектировал «Саморазворачивающийся

радиотелескоп для космического пространства» (1967), отказавшись от патента на свое изобретение, так как понимал, что это грозит ему невозможностью выезжать за пределы СССР. Колейчук придумал и воплотил «Зал космических путешествий» (1981) для открывшегося Мемориального музея космонавтики имени К.Э. Циолковского в Москве и работал над эстетикой и «внеземными» объектами кинофильма «Кин-дза-дза!» (1986) режиссера Георгия Данелии, иронически переосмыслившего космическую тему. В 1985 году Илья Кабаков в своей мастерской в доме «Россия» на Сретенском бульваре создал инсталляцию «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», в которой воплотилась память об утопических проектах русского авангарда и одновременно осознание клаустрофобичности всякой утопии. В конце советской эпохи в искусстве «Новых художников» космос стал воплощением неомодернистского мифа. Олег Котельников, Георгий Гуьянов, Андрей Крисанов, Игорь Веричев и Виктор Цой изображали инопланетян и космические ракеты. Тимур Новиков придумал свой метод перекомпозиции и знаковой перспективы на основании теории семантической перспективы одного из пионеров советской космонавтики Бориса Раушенбаха и монтажа кинорежиссера Льва Кулешова. В 1991 году художники и музыканты организовали грандиозный рейв «Гагарин-партия 1» на ВДНХ в Павильоне «Космос», ставший одновременно и выставкой работ Тимура Новикова. В 1992 году создатель оркестра «Поп-механика» гениальный композитор и музыкант Сергей Курёхин официально зарегистрировал «Центр космических исследований», в рамках которого в духе русского космизма предлагал запускать искусственные спутники души.

Лилия Борисовна Брусиловская

Москва, Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения

Института филологии и истории РГГУ

**Космос как попытка свободы (культурная рефлексия поколения
Оттепели в литературе 1960-х)
(тезисы)**

- Тема космоса в литературе 1960-х гг. почти сразу вышла за рамки исключительно научно-технических достижений. Для молодых авторов Оттепели это стало метафорой свободы: «звездный билет»,

который символически обретали герои молодежной прозы В. Аксенова, стал надеждой на выход поколения 1960-х гг. за пределы советского мира – интеллектуально, творчески и географически. Юные персонажи одноименного романа постепенно расширяют пространство постижения мира, которое ограничивалось у них раньше размерами собственного двора, названного ими «Барселона», как отражение подспудной мечты о путешествии в загадочную и далекую европейскую страну.

- Первое в их жизни сознательное путешествие, которое они совершают – это тоже путь на западные рубежи страны, в Эстонию, и эта поездка становится для них рывком в неизведанное, опытом, не сравнимым ни с чем доселе не пережитым, можно сказать, что для 18-летних подростков это был символический рывок в космос, где время течет не так, как на привычном месте обитания. И даже уже вернувшись в родной дом, вернее на развалины его, главный герой, глядя на небо, вновь видит тот самый кусочек неба, прошитый звездами, его звездный билет, зовущий в новые, загадочные миры.

- Другие миры или «Антимиры» – яркий пример поэтики шестидесятников, так удачно воплощенный в одном из самых культовых стихотворений А. Вознесенского, где фантастические образы переплетаются с размышлениями автора о природе реальности, внутреннем мире человека и о том, что объединяет его с другими людьми. Космос и параллельные миры здесь скорее метафорические определения, чем научно-фантастические, призванные подчеркнуть право любого человека на внутреннюю свободу, свой индивидуальный взгляд на мир, включающий в себя иронию и самоиронию, благодаря которой человек уступает мудрость в постижении этого мира своему коту, который «как радиоприемник зеленым глазом ловит мир».

- Космос и земной быт – те условно-воображаемые пространства, между которыми вечно существует человек и вечно противостоящие друг другу, как это показано в коротком стихотворении Вознесенского «Обсерватория». Жизнь между «звездами и пастухами под стеной телескопа», по мнению поэта, при соблазне отказа от созерцания вечного в угоду сиюминутному, невыносима без стремления к свету, пробивающемуся сквозь тысячелетия, как символу тяги человечества к познанию, красоте и свободному полету.

- Полет туда, где нет границ, что и символизирует собой космическая Вселенная – заветная мечта поколения шестидесятников, которую так емко выразил Е. Евтушенко в своем поэтическом манифесте «Пролог»: «Границы мне мешают... мне неловко, не знать

Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». Вся история человечества, как настаивал Евтушенко в цикле «12 песен о космосе», - это история стремления к полету, туда, где нет границ, таможен и прописок.

- Культ космоса у поколения Оттепели прежде всего означал заветное желание шестидесятников свободного, безграничного полета по всему миру («Я хотел бы родиться во всех странах, беспаспортным, к панике бедного МИДа», как написал Евтушенко), стремления к свободе внутренней, расширению границ собственного творчества. Космос для них приобретал черты единого мирового культурно-космополитического пространства, где они являлись бы равноправной частью современной культуры и цивилизации, находящейся в творческом диалоге с другими ее представителями.

Гун Цинцин

КНР, Ханчжоу, Чжэцзянский институт иностранных языков

**Пейзаж в произведениях В.С. Маканина
как отражение космического мироустройства
(тезисы)**

В.С. Маканин родился в уральском поселке, который называли в народе Аварийным и который стал прототипом Старого поселка в произведениях писателя. Автобиографическое начало выражено в текстах Маканина достаточно определенно. И Желтые горы, и реку Урал, и уральскую степь писатель изображает, явно обращаясь к своим воспоминаниям, поэтому пейзаж как способ выражения представлений автора о космическом мироустройстве можно связать, прежде всего, с его биографией. В прозе В.С. Маканина индивидуальное бытие человека неразрывно связано с мирозданием. Персонажи, находясь под пристальным взглядом грандиозного космоса, ведут духовные поиски того, как «сохранить себя».

Природный пейзаж у него — это не просто фон, а своего рода «измерительная шкала», с помощью которой определяется место человека в космосе и истории; он тесно связан с сюжетным движением произведений. Особенно показательна в этом аспекте маканинская повесть «Где сходилось небо с холмами». Возвращения Башилова в поселок организованы по принципу композиционной градации, его необъяснимо тянет в родные края, но каждый новый приезд вызывает в нем все большую душевную тревогу, которую раскрывают картины природы, возникающие перед глазами героя и в его сознании. «Холмы

(их линия) рождали смутное беспокойство, а когда он отводил от холмов глаза, беспокойство только усиливалось»¹. Не случайно герой мысленно соотносит изменения, которые происходят в жизни природы, с изменениями в существовании обитателей поселка. По его ощущениям, горы и озеро стали меньше, а жители реже поют. Пейзажные описания в повести могут служить иллюстрацией точки зрения В.С. Манакова, указывающего, что «чувство природы» включает в себя два компонента: (1) «непосредственное переживание природы (созерцание, слушание, обоняние, осязание)», 2) «более сложное ее постижение через эмоции и чувства, а также в ходе рефлексирования о законах мироздания»². Именно так происходит с маканинским героем, для которого характерно сложное постижение природы через эмоции и чувства и который «без цели бродил меж домами. Одиноким, он наткнулся на воспоминания там и тут»³. Маканин пытается показать читателю, что беспокойство у Башилова вызывает осознание того, что понятный и близкий ему мир разрушается.

В повести пейзаж предстает динамично изменяющейся картиной, что становится возможным благодаря способности автора фиксировать важные для художественного образа детали и представлять читателю ход времени как исторический. Например, образы холмов и кленов выступают как символы памяти о прошлом и знаки изменений культурной традиции в поселке.

Таким образом, Маканин включает в единые композиционные рамки природу, человека и культуру. <...> Башилов всматривался: он как бы цеплялся за шероховатости пространства, взывал, но перед ним расстилались онемевшие холмики. <...> Он смотрел туда, где сходилась небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия жила в Башилове постоянно. <...> “Все высосал...” — подумал Башилов; ему было жаль и не жаль этот онемевший пейзаж»⁴. Герой считает, что изменение «волнистой линии» и постепенное умирание музыки связаны с его успехом. В связи с этим он чувствует себе виноватым перед своей малой родиной, ему кажется, что он «высосал» сок из этой земли, стал известным композитором, а в поселке музыка исчезла.

«Всё высосал...» — так Башилов подводит итог своему положению. «Ему было жаль и не жаль этот онемевший пейзаж» — это его

¹ Маканин В.С. Где сходилась небо с холмами: Повести. С. 127.

² Манакон В.С. «Чувство природы» в литературах Запада / «Чувство природы» в русской литературе / отв. ред. Т.Я. Гринфельд. Сыктывкар: СГУ, 1995. С. 379–380.

³ Маканин В.С. Где сходилась небо с холмами: Повести. С. 127.

⁴ Там же. С. 146.

финальный ответ на онемевший пейзаж, и в этом ответе слышится космо-философский отзвук: раз Вселенная не отвечает на человеческий призыв, раз пейзаж уже истощён, то и сама человеческая скорбь становится излишней. В этом и заключается маканинская экзистенциальная позиция: человек, обнаружив, что Вселенная не дарует смысла, не сопротивляется и не сдаётся, а остаётся в состоянии «жаль и не жаль» — принимая оба противоположных чувства одновременно и отказываясь выбирать между ними. Быть может, именно в этом и состоит его способ «сохранить себя» в «равнодушной Вселенной»: не через обретение смысла, а через удержание, после исчезновения смысла, того подвешенного, противоречивого состояния существования, которое отказывается быть поглощённым каким-либо единственным ответом.

После мучительного вопрошания к холодному звёздному небу он, в хмельную ночь, наконец обретает это «чувство совпадения» с вечностью и своими корнями — отдавая себя неизменному космическому порядку, который был свидетелем и жизни его предков. В этом заключается маканинский, полный горечи и просветления, ответ на бездну космоса: в условиях равнодушных законов Вселенной смысл индивидуального существования заключается именно в том, чтобы ощутить себя единым с тем вечным порядком, который был свидетелем всему.

В «Утрате» при описании некоторых картин природы точки зрения героя и автора сливаются: пейзаж становится одновременно близким и автору, и героям. В такие моменты доминирует сентиментальное отношение автора к природе, ее чувственное восприятие. В финале повести Маканин вводит пейзаж, который отражает экзистенциальное мироощущение героя: «На небо выкатился Орион — и все недвижно; и стало просторно торжественное небо, в котором нет, кажется, места ни людям, ни их поступкам»⁵. Звёзды предстают как «видевшие и перевидевшие» всё человеческие успехи и неудачи — они не вмешиваются, не посылают ни удачу, ни неудачу, они просто светят. Это перекликается с квантово-теоретическим взглядом на мироздание: на микроуровне поведение частиц вероятно; на макроуровне человеческая судьба также лишена некоего конечного наблюдателя, который придал бы ей необходимость. Вселенная не играет в кости? Ответ Маканина таков: Вселенной просто безразлично, на какую грань упадёт кость.

Как и в «Утрате», в рассказе «Ключарев и Алимущкин» Маканин

⁵ Там же. С. 150.

также фокусирует внимание читателя на диалектическом противопоставлении скоротечности человеческой жизни и вечности бытия с помощью изображения звездного неба. Здесь противопоставление краткосрочности конкретной человеческой жизни и вечности бытия наводит героя на мысль об отсутствии провидения, вызывает ощущение экзистенциального одиночества. Несмотря на то, что человек — часть природы, его жизнь является короткой и мимолетной, а бытие живой природы бесконечно.

В шестой части повести «Голоса» Маканин рассказывает об изобретении барабана, представляя коллективный, первобытный момент, синхронный с космосом. Люди сидят на корточках на земле, они смотрят, они колотят в дощечки — вся эта цепочка действий рисует картину мира до рождения человеческой цивилизации. Нет ни языка, ни нарратива, есть только первобытное созерцание и ритмичный стук. Это «доязыковое» состояние перекликается с немотой персонажей Маканина, оказавшихся на руинах истории: когда цивилизация подходит к концу, человек, возможно, возвращается к этому первобытному способу общения с миром — через ритм. В этом эпизоде барабанный бой предстаёт как первое подражание космическому порядку и первый ответ на него, как первый ритуальный момент, в котором человечество утверждает собственное существование в космосе — через ритмический диалог со Вселенной.

В повестях Маканина «На первом дыхании» и «Погоня» пейзаж играет важную роль не только на содержательном, но и на композиционном уровне повествования.

Как и в повести «На первом дыхании», в повести «Погоня» пейзаж выполняет смыслообразующую, сюжетообразующую и композиционную функции. «Погоня» также начинается с пейзажной зарисовки: «Есть на земле речка, точнее сказать, речушка — она мелкая, она безымянная, и в конце пути своего она впадает в Урал. Возле речки приткнулся одинокий полуразрушенный домишко: хибарка. Вокруг хибарки лес, лес, лес. А дальше — куда ни глянь — отроги гор»⁶. В эпилоге повести, как и в ее начале, пейзаж представлен обобщающей зарисовкой, организующей кольцевую композицию текста. Таким образом, создается ощущение открытости финала, неизвестности и бесконечности, но при этом мистической предопределенности жизни. Маканин начинает повествование с пространственной привязки — с «речушки»: безымянной, мелкой речки, которая теряется на картах.

⁶ Маканин В.С. Погоня // Маканин В.С. Река с быстрым течением: повести и рассказы. М.: Московский рабочий, 1983.С. 260.

Уменьшительный суффикс «-ушка» и эпитет «безымянная» образуют дегероизированную пространственную стратегию: история вершится не на великой Волге, а у этой ничтожной, вот-вот исчезающей воды. Однако эта безымянная речушка в конце концов «впадает в Урал» — границу между Европой и Азией. Этот географический факт намекает на тайную, неразрывную связь индивидуальной судьбы с историческим потоком, но Маканин отказывается от какой-либо лирической сублимации: пейзаж просто следует своим физическим законам. В этом и заключается трансформация эйнштейновского пространства в литературе: микроскопическое существование искривлено и охвачено грандиозной пространственно-временной структурой, однако при этом не получает от неё никакого смыслового дара.

Таким образом, «космическое чувство» Маканина обретает полноту своего смысла: это не просто «космос», а «переживание человеческого бытия в грандиозном порядке». В повествовательной вселенной Маканина природный пейзаж никогда не является безмолвным фоном — это напряжённое, живое или мёртвое смысловое поле. Он служит одновременно микроскопической точкой отсчёта для индивидуальной судьбы и макроскопическим масштабом космического порядка. Маканин глубоко интересовался шахматами; его вселенная подобна шахматной доске без Бога-игрока. Человек поставлен на эту доску как одинокий король, окружённый со всех сторон, но звёзды над ним — не игроки, они не принимают ничью сторону. Партия идёт, но нет ни судьи, ни зрителей, ни того, кто придал бы ей смысл. Человек может лишь делать свои ходы, а звёзды просто светят, не предлагая ответа. И тем не менее — именно в этом безответном, одиноком движении человек совершает свой ход: и сам этот ход становится единственным и полным смыслом.

Ван Лэй

КНР, Нанкин, Нанкинский университет

**Идея конфуцианства «Единство Неба и человека»
и этика советского космоса: диалог традиций
(тезисы)**

Советский космический прорыв второй половины XX века, в своей глубинной интенции, представлял собой масштабный антропологический сдвиг — попытку переопределения

онтологического статуса и морального призвания разумного существа в мироздании.

В отличие от западно-европейской и американской парадигмы фронта, ориентированной на колонизацию, конкурентный захват территорий и утилитарную экспансию, советский космический нарратив складывался под мощным влиянием философии всеединства и русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). В рамках этого направления космос мыслился не как мертвое сырьевоеместилище тел, подлежащее экспроприации, а как сфера приложения гармонизирующего созидательного разума.

Параллельно в китайской интеллектуальной традиции фундаментальной матрицей мировосприятия на протяжении тысячелетий выступает идея «Единство Неба и человека» (天人合一). Она утверждает неразрывную связь космического порядка (Тянь) и нравственного устроения социума (Жэнь). В условиях обострения современных геополитических вызовов и риска милитаризации космоса сопоставительный анализ этих двух моделей позволяет эксплицировать ценностный фундамент мирного и созидательного освоения Вселенной.

1. Онто-этическая матрица «Единства Неба и человека»

В классическом конфуцианстве Небо предстает не трансцендентным Творцом монотеизма, а верховным порождающим, упорядочивающим и моральным началом. Традиционная китайская мысль исключала дуализм духа и материи: мироздание понималось как самопорождающийся органический континуум, где природное и социальное образуют динамический баланс. Как отмечает А. И. Кобзев в книге «Философия китайского неоконфуцианства»: «...человек есть моральное существо, которое через усилие над собой распространяет свою человеческую восприимчивость на все существа универсума, чтобы реализовать себя в мире в качестве его интегральной части...» [Кобзев 2002, с. 43].

В «Лунь юй» Небо утверждает порядок не через внешнее директивное откровение, а через ритм порождения сущего: «Разве Небо говорит? Между тем четыре сезона чередуются ежегодно как обычно. Все сущее рождается как обычно. Разве говорит Небо?» [Конфуций 2017, с. 288]. Долг благородного мужа состоит в сообразовании своей воли с небесной благодатью, манифестируемой через человеколюбие, ритуал и справедливость.

Мэн-цзы показал внутреннее тождество человеческого сердца и космического начала: «Кто всем сердцем отдается благим порывам, тот познает свои природные задатки, а познав свои природные задатки,

сможет тогда познать и Небо» [Мэн-цзы 1999, с. 186]. В эпоху Хань Дун Чжуншу систематизировал концепцию взаимного резонанса Неба и человека, связав социальную этику со стабильностью космического круговорота. Позднее Чжан Цай сформулировал вселенскую солидарность: Небо и Земля почитаются едиными родителями человека, а все существа — его братьями [张载 1978, с. 62].

Таким образом, конфуцианство утверждает три краеугольных принципа: имманентную нераздельность познающего субъекта и природы, абсолютный примат морали над узкой утилитарной пользой и миссию человека как помощника порождающих сил Неба и Земли.

2. Философские истоки советского космизма

Советский космический проект унаследовал телеологический и этический пафос отечественной мысли конца XIX — начала XX века:

Проективизм Н. Ф. Федорова. Родоначальник русского космизма полагал, что стихийная природа несет хаос и смертность, но через человека она обретает самосознание: «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою» [Федоров 2020, с. 515], поэтому человек должен внести в природу разум и волю, «Разум практический, равный по объему теоретическому, и есть разум правящий, или регуляция, т. е. обращение слепого хода природы в разумный» [там же, с. 47]. Преодоление земной ограниченности мыслилось Федоровым как высший нравственный долг регуляции бытия.

Космическая этика К. Э. Циолковского. Основатель теоретической космонавтики исходил из панпсихизма — одухотворенности и чувствительности всей материи Вселенной. В работе «Гений среди людей» он утверждал, что «Гений нашел цель существования. Это — познание, совершенствование, устранение зла и всякого страдания, распространение высшей жизни» [Циолковский 2020, с. 76]. Также он считал, что судьба разумного существа неотделима от жизни космоса, а долг человечества — устранять несовершенство и страдание во всем мироздании.

Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Ученый доказал, что научная мысль стала мощной планетной геологической силой: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — должен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте.» [Вернадский 1991, с. 28]. Логическим продолжением ноосферы стал неизбежный выход за пределы Земли.

Советский космический дискурс институционализировал эти философские интуиции, трансформировав вековые духовные искания в масштабную созидательную программу научно-технического прорыва.

3. Конвергенция традиций: созвучия и сходство

При сопоставительном анализе конфуцианства и советской космической этики обнаруживается существенная изоморфность их аксиологических структур при сохранении историко-культурной специфики.

(1) Преодоление субъект-объектного дуализма

Обе традиции отвергают механистический раскол мира на мыслящий субъект и пассивный объект исследования. Ван Янмин формулировал эту целостность предельно четко: «Человеколюбивый считает Небо, Землю и тьму вещей единым телом» [王阳明 2014, с. 172].

В советском дискурсе исторический полет Ю. А. Гагарина мыслился не как покорение территории одиночным субъектом, а как пробуждение самого космоса, осознающего себя в разуме человека. В предстартовом слове Гагарина личное начало прямо сливается с родовым масштабом человечества: «это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим» [Гагарин 1961].

(2) Категория долга против утилитаризма

Центральная для конфуцианства оппозиция бескорыстного долга и личной выгоды («Благородный муж думает только о долге, маленький человек думает только о выгоде» [Конфуций 2017, с. 102]) зеркально отразилась в этосе советского космоса. Выход во внеземное пространство провозглашался не средством извлечения материальной прибыли, а моральной миссией служения грядущим поколениям. Полет к звездам является строгим экзаменом на человечность, требующим решительного отказа от геоцентрического эгоизма и хищничества. Как отмечал один из основоположников практической космонавтики академик Б. В. Раушенбах, подлинный прорыв во Вселенную совершался именно теми, кто «думал не о своих каких-то делах, а о Деле» и работал «не ради денег, а ради интереса», ставя этическое достоинство и служение выше утилитарных расчетов [Раушенбах 2000, с. 13, 21]. Преодоление стяжательства становилось здесь непременным условием сохранения «человеческого в человеке»: по убеждению ученого, «главное занятие человека — жить, и... жить достойно» [там же, с. 25], подчиняя научно-техническую мощь нравственному разуму.

4. Значение синтеза для российско-китайского диалога в XXI веке

В современную эпоху освоение космического пространства сталкивается с угрозами милитаризации околоземных орбит и утилитарного передела внеземных ресурсов транснациональными корпорациями. В этих условиях синтез конфуцианской мудрости и русского космизма предлагает конструктивную межкультурную альтернативу:

Во-первых, сформулированный Конфуцием принцип «гармония при сохранении различий» (和而不同) в сочетании с идеей соборного всеединства противостоит одностороннему технологическому гегемонизму. Космос утверждается как неделимое достояние всего человечества.

Во-вторых, мировоззрение «Единство Неба и человека» концептуально питает современную инициативу создания «Сообщества единой судьбы человечества». В практической плоскости это находит воплощение в проекте создания Международной научной лунной станции, совместно реализуемом Россией и Китаем на основе открытости, суверенного равноправия и мирного созидания.

В-третьих, сопоставление традиций утверждает примат нравственной зрелости над инструментальным могуществом цивилизации. Любая технологическая экспансия во внеземное пространство без внутренней этической трансформации субъекта ведет к кризису космического масштаба.

Заключение

Диалог конфуцианской категории «Единства Неба и человека» и этико-философских оснований советского космического проекта демонстрирует органическое родство двух евразийских мировоззрений. Обе парадигмы преодолевают индивидуалистический прагматизм и отчуждение человека от Универсума.

Конфуцианский холизм дает космическому поиску глубокую онтологическую укорененность и бережное отношение к природному порядку, предостерегая от гордыни разрушения. Советский космизм сообщает традиционной гармонии дерзновенный творческий порыв, призывая человека стать сознательным актором вселенской эволюции. Их гармоничный синтез закладывает прочную концептуальную основу для стратегического партнерства России и Китая в гуманистическом освоении глубин Вселенной в XXI веке.

(Работа выполнена в рамках гранта традиционного китайского культурного наследия при Министерстве образования КНР“ 《论语》在俄罗斯的传播和影响研究”, 项目编号: 23JDTCA031)

Литература

- Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991.
- Гагарин Ю.А. Заявление Юрия Гагарина перед космическим полетом 12 апреля 1961 года. – URL: <https://www.roscosmos.ru/29978/> (выход 07.09.2026)
- Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. – М.: Восточная литература РАН, 2002.
- Конфуций. Суждения и беседы (Лунь юй). Пер. с кит. Л.С. Переломова. – М.: Восточная литература, 2017.
- Мэн-цзы. Мэн-цзы. Пер. с кит. В. С. Колоколова. Под ред. Л.Н. Меньшикова. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1999.
- Раушенбах Б. В. Пристрастие. М.: Аграф, 2000.
- Федоров Н.Ф. Философия общего дела. М.: Академический проект, 2020.
- Циолковский К.Э. Космическая философия. Живая Вселенная. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2020.
- 王阳明 : 《王阳明全集 : 1-5》, 北京 : 中国文史出版社, 2014年。
- 张载 : 《张载集》, 北京 : 中华书局, 1978年。

Игорь Вадимович Кондаков

*Москва, кафедра истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ;
сектор художественных проблем массмедиа Государственного института
искусствознания*

«Советский космизм»: к мифологии науки (тезисы)

«Советский космизм» возник не без влияния идей русского космизма, сложившихся в историческом контексте Серебряного века. Философия Н. Федорова, К. Циолковского, А. Чижевского, В. Муравьева, А. Богданова, В. Вернадского и др. была направлена на приобщение человека и человечества к жизни Вселенной, Космоса, а значит, стремилась разными путями включить культуру в большое время и в большое пространство (т.е. в вечность и бесконечность). Среди поэтических представителей русского космизма в поэзии этого времени были В. Брюсов, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, В. Хлебников, В. Маяковский. Космические образы в поэзии Серебряном веке символизировали вечность и вселенский масштаб художественных и эстетических обобщений, универсализм общечеловеческих нравственно-философских идей, всеединство мироздания.

Возродившись в молодой пролетарской поэзии под эгидой Пролеткульта и «Кузницы», под флагом «всемирной революции», советский космизм претендовал на символическое представление

политической гегемонии в советской культуре пролетариата, грандиозности революционных преобразований мира, оптимизма последующих свершений Октябрьской революции, перерастающей в мировую. Конечно, пролетарская поэзия, родившаяся во время Гражданской войны (1918 – 1921) была вторичной, подражательной по отношению к символизму и футуризму, рассудочно-абстрактной, наивно-пропагандистской, но в стихах В. Кириллова, М. Герасимова. В. Казина, И. Садофьева, А. Гастева и др. угадывались смелый прорыв в воображаемое будущее, мечты об окончании войн и единстве человечества, об овладении людей техникой, открывающей фантастические перспективы всеобщего развития.

Главный тогдашний идеолог революционной России Л. Троцкий в своей книге «Литература и революция» (1923) усмотрел в «космизме» «пресную романтику» и даже «дезертирство» от «тяжких земных дел» – в «межзвездные сферы» и в «потусторонний мир». «Мысль тут приблизительно та, чтобы весь мир чувствовать как некое единство и себя — его активной частью, с перспективой повелевания в дальнейшем не одной только землей, но и всем космосом». «Тем самым космизм, продолжает Л. Троцкий, — совершенно неожиданно оказывается родствен мистицизму» [Троцкий Л. Литература и революция. — М.: Политиздат, 1991. С. 165]. Поэты становятся космистами, — утверждает вождь Октября, потому, что «земные вопросы, столь трудно поддающиеся художественной обработке, порождают попытки скачка в потусторонний мир» [Там же]. В русском философском и поэтическом космизме и в самом деле было достаточно утопизма и мистицизма; ведь космизм отнюдь не был «материалистическим учением», посвященным практическому освоению космического пространства, о чем всерьез никто и не мечтал в начале 1920-х гг. И Троцкий остроумно замечает: «Как бы эта сомнительная тенденция затыкать провалы мировоззрения и художественного творчества тонкой материей межзвездных пространств не привела кое-кого из космистов к самой тончайшей из материй, к святому духу...» [Там же].

Троцкий заблуждался в отношении прагматики освоения космоса и ошибался относительно перспектив космической темы в литературе и искусстве. Еще до революции вышли в свет два научно-фантастических романа неортодоксального марксиста А.А. Богданова «Красная звезда» и «Инженер Мэнни». В 1918 г. началась публикация научно-фантастической повести К.Э. Циолковского «Вне Земли», а в 1922 г. в «Красной Нови» начал печататься роман А.Н. Толстого «Закат Марса» (будущая «Аэлита»). Это стало началом советской

научной фантастики, продолжавшей развиваться все советское время и постоянно обращавшейся к космической теме.

Но в чем предсказание Троцкого подтвердилось: космос стал основанием для философствования на отвлеченные темы – будущего человека и человечества, технического прогресса и его последствий, строения Вселенной, научной этики и т.п. Космос оказался излюбленной темой советской пропаганды, и не столько научно-технической, сколько политической.

Между тем, Циолковский в революционном 1917 году написал повесть «Вне Земли», в которой рассказывал, как высоко в Гималаях, в специально воздвигнутом замке собрались пять ученых – француз Лаплас, немец Гельмгольц, итальянец Галилей, американец Франклин и русский Иванов – с тем, чтобы под сводом звездного неба обсудить технический проект, волновавший всех: как улететь с Земли на Луну или еще дальше, вглубь Вселенной. После бурного обсуждения была построена ракета, на которой четверо из них и еще 16 человек отправились в космический полет. Ученые побывали на Луне и даже едва не долетели до Марса. Колонизация людьми околоземного пространства оказалась реальной. Руководитель экспедиции Иванов пришел к заключению: «...Хорошо, если человечество, не дожидаясь возможной катастрофы, переселится в иные миры» [Циолковский К.Э. Вне Земли. Сборник научно-популярных и научно-фантастических работ. – М.: ООО «Луч», 2008. С. 277].

Удивительно, что в разгар Мировой войны и Русской революции ученый и фантаст мечтал о том, как интернациональный союз ученых может запланировать и осуществить полет в космос; более того, – покинуть Землю и расселить человечество в космическом пространстве, тем самым оживив и одухотворив космос.

В наследии отечественных ученых-космистов советская власть менее всего заинтересовалась космосом. Например, среди идей К. Циолковского поначалу оказались востребованными лишь технические проекты – ракетостроения и дирижаблестроения. В наследии В. Вернадского интерес вызывали лишь геологические проекты. Но более всего в «советском космизме» власть всегда занимал чисто пропагандистский эффект. И это стало очевидно еще задолго до начала космической эры, толчком для которой послужили отнюдь не научно-исследовательские, а исключительно военные цели (неслучайно освоение космоса в СССР развивалось в атмосфере абсолютной секретности, наряду с атомным проектом).

В 1930-е годы фигура К.Э. Циолковского послужила важной опорой для развертывания культа Сталина. Когда в партийно-

государственных кругах страны в сентябре 1935 г. стало известно о безнадежном состоянии ученого, умиравшего в калужской больнице от рака желудка, секретарь ЦК ВКП(б) и руководитель московской парторганизации Л.М. Каганович (Калуга тогда входила в состав Московской области) распорядился организовать научно-политическое «завещание» Циолковского как всесоюзную и международную сенсацию. Специально подобранные калужские журналисты – Монастырев и Петухов – под контролем первого секретаря Калужского райкома партии Б.Трейваса (расстрелян в 1937 г.) – сочинили от имени Циолковского письмо вождю:

«ЦК ВКП (б) – вождю народа – тов. Сталину. Мудрейший вождь и друг всех трудящихся, тов. Сталин! Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продвинуть человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки; лишь Советская власть и партия Ленина – Сталина оказали мне действительную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным. Однако сейчас болезнь не дает мне закончить начатого дела. Все свои труды по авиации, ракетоплаванью и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти – подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды. Всею душой и мыслями Ваш, с последним искренним приветом всегда Ваш К. Циолковский. 13 сентября 1935 года».

Текст письма был с трудом прочитан умирающему. Старшая дочь ученого Л.К. Циолковская, которую услали за лекарствами, чтобы она не присутствовала при оглашении текста письма, в своих записных книжках засвидетельствовала: «Явился Ильин [представитель Осоавиахима. – И.К.] и показал мне письмо, написанное якобы под диктовку отца Сталину. Там есть слово “мудрейший”. Наверняка знаю, что отец его так не назовет». «Он никогда не считал Сталина мудрым, а наоборот, очень ограниченным человеком». Текст письма срочно согласовали с Кагановичем, после чего Циолковскому предложили его подписать. Начиная со слов «с последним искренним приветом...», строка написана карандашом рукой Циолковского [Цит. по статье: *Максимовская Н.А. История завещания Циолковского // «Меценат» (Калуга). 2005. 30 сентября. № 10. С. 4-5*].

17 сентября «письмо Циолковского» вместе с ответом Сталина было опубликовано газетами «Правда» и «Известия», а правительственная телеграмма с ответом Сталина была вручена Циолковскому. В сталинской телеграмме было написано:

«Знаменитому деятелю науки товарищу К.Э. Циолковскому. Примите благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и советской власти. Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку. И. Сталин». Через два дня Циолковский умер.

Когда 17 сентября 1935 г., в 79-й день рождения ученого, Константину Эдуардовичу прочли телеграмму от Сталина, он сказал: «Я думал, что не ответит. Надо ответить». От имени Циолковского написали ответ Сталину: «Москва, товарищу Сталину. Тронут Вашей теплой телеграммой. Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, знаю: советские дирижабли будут лучшими в мире. Благодарю товарища Сталина!» Своей рукой ученый приписал: «Нет меры благодарить. Циолковский. 17 сент.».

Миф о «дружбе» Сталина с Циолковским волей-неволей лег в основание «советского космизма». А сам «советский космизм» также стал во многом основой спекулятивной научной мифологии, потеснившей в советской культуре собственно науку, философию, религию и даже политическую идеологию, а затем и неотъемлемой частью официальной пропаганды, апеллировавшей к «советскому космосу» как свидетельству всемирного превосходства СССР.

Роберт Чандлер

Великобритания, Лондон, независимый исследователь

Космос и жизнь: рассказ В.С. Гроссмана «Собака»

(заметки переводчика)

(приложения)

Приложение 1.

Василий Семенович Гроссман. Собака

Собака

1

Ее детство было бесприютным и голодным, но детство самая счастливая пора жизни.

Особенно хороша была первая весна, майские дни за городом. Запах земли и молодой травы наполнял душу счастьем. Ощущение радости было пронзительным, прямо-таки невыносимым, ей иногда даже есть не хотелось от счастья. В голове и глазах весь день стоял зеленый теплый туман. Она припадала на передние лапы перед цветком одуванчика и отрывисто лаяла сердитым и счастливым детским голосом, приглашая цветок участвовать в беготне, сердясь, насмехаясь, удивляясь неподвижности его зеленой толстой ножки.

Потом, вдруг, она иступленно начинала рыть яму, и комья земли вылетали у нее из-под животика, ее пегие, черно-розовые ладошки и пальчики становились горячими, их обжигала каменистая земля. Мордочка ее при этом делалась озабоченной, словно она рыла себе убежище для спасения жизни, а не играла в игру.

Она была упитанной, с розовым пузом, с толстыми лапами, хотя ела она и в эту добрую пору мало. Казалось, она толстела от счастья, от радости быть живой.

А потом уж не стало легких детских дней. Мир наполнился октябрем и ноябрём, враждой и равнодушием, ледяным дождем, смешанным со снегом, грязью, осклизлыми, отвратительными объедками, они и голодной собаке казались тошными.

Но случалось и в ее бездомной жизни хорошее - жалостливый человеческий взгляд, ночевка возле горячей трубы, сахарная кость. Была в ее собачьей жизни и страсть, и собачья любовь, был свет материнства.

Она была безродной дворнягой, маленькой, кривоногой. Но она успешно преодолевала вражью силу, потому что любила жизнь и была очень умна. Лобастая дворняжка знала, откуда крадется беда, она знала, что смерть не шумит, не замахивается, не швыряет камней, не топает сапогами, а протягивает кусок хлеба и приближается вкрадчиво улыбаясь, держа за спиной мешковую сетку.

Она знала убойную силу грузовых и легковых машин, они точно знала различие их скоростей, умела терпеливо пережидать транспортный поток и стремительно пробегать мимо остановленных светофором автомобилей. Она знала всекрушающую прямолинейную мощь электричек и их детскую беспомощность, неспособность подшибить мышь в полуметре от рельсового пути. Она различала рев, посвист, гул винтовых и реактивных самолетов, тарахтенье вертолетов. Она знала запах газовых труб, умела распознавать тепло, идущее от скрытых в земле труб теплоцентралей. Она знала ритм работы автотранспорта, обслуживающего мусоропроводы, она знала способы проникать в мусорные контейнеры и урны, мгновенно отличала целлофановую обертку мясных полуфабрикатов, вощеную обертку трески, плотбира, морского окуня.

Черный электрокабель, вылезший из-под земли, внушал ей больше ужаса, чем гадюка, - однажды она коснулась мокрой лапой кабеля с нарушенной изоляцией.

Вероятно, объем технического опыта у этой собаки был больше, чем у бывалых, умных людей, живших за два-три века до нее.

Она была умна, мало того, она была образованна. Не накопи она опыта, соответствующего технике середины XX века, она бы погибла. Ведь случайно забредшие в город сельские собаки погибали сразу, прожив на городских улицах считанные часы.

Но для ее борьбы мало было технического опыта и знаний, необходимо было понимание сути жизни, нужна была жизненная мудрость.

Безыменная, лобастая дворняга знала, что в вечной перемене, в бродяжничестве основа ее существования.

Иногда сердобольный человек проявлял жалость к четвероногой страннице, подкармливал ее, устраивал ей ночлег на черной лестнице. Измена бродяжеству сулила гибель. Становясь оседлой, бродяжка связывалась с одним добрым человеческим сердцем и со ста злыми. А вскоре появлялась смерть с вкрадчивыми движениями, в одной руке она держала кусок хлеба, в другой мешковую сетку. Сто злых сердец сильнее одного доброго.

Люди считали, что собака-странница не способна на привязанность, что бродяжничество развратило ее.

Люди ошибались. Тяжелая жизнь не ожесточила бродячую собаку, но добро, жившее в ней, никому не было нужно.

Ее поймали ночью, когда она спала. Ее не убили, а отправили в институт. Ее купали в теплом, вонючем растворе, и блохи перестали ее мучить. Несколько дней она прожила в подвале, в клетке. Кормили ее хорошо, но ей не хотелось есть. Ее неотступно томило предчувствие смерти, она страдала без свободы. Только здесь, в клетке с мягкой подстилкой и вкусной едой в опрятной мисочке, она оценила счастье вольной жизни.

Ее раздражал глупый лай соседей. Ее долго осматривали люди в белых халатах, один из них, светлоглазый, худой, щелкнул ее по носу и потрепал по голове; вскоре ее перевели в тихое помещение.

Ей предстояло знакомство с наивысшим разделом техники двадцатого столетия, ее начали готовить к великому делу.

Она получила имя Пеструшки.

Вероятно, даже большим императорам и премьер-министрам не делали столько анализов. Светлоглазый, худой Алексей Георгиевич узнал все, что можно знать о сердце, легких, печени, газообмене, составе крови Пеструшки, об ее нервных реакциях и об ее желудочном соке.

Она понимала, что не уборщицы и лаборанты, не генералы в орденах хозяева ее жизни, смерти, свободы, ее последних мук.

Она понимала это, и сердце ее обратило свою нерастраченную любовь к Алексею Георгиевичу, и весь ужас ее прошлого и настоящего не мог ожесточить ее против него.

Она понимала, что уколы, пункции, головокружительные и тошнотные путешествия в центрифугах и виброкамерах, томящее ощущение невесомости, вдруг вливающееся в сознание, в передние лапы, в хвост, в грудь, в задние лапы, - все это шло от Алексея Георгиевича, хозяина.

Но практический разум ее оказался бессилён. Она ждала его, обретенного ею хозяина, томилась, когда его нет, радовалась его шагам, а когда он вечером уходил, ее карие глаза, казалось, увлажнялись слезами.

Обычно после утренней, особо тяжелой тренировки Алексей Георгиевич заходил в виварий - Пеструшка, высунув язык, тяжело дышала, положив лобастую голову на лапы, смотрела на него кротким взглядом.

Каким-то странным, непонятным образом этот, ставший хозяином ее жизни и судьбы, человек связывался у нее с ощущением весеннего зеленоватого тумана, с чувством моли.

Она смотрела на человека, обрекшего ее клетке и страданиям, и в сердце ее возникала надежда.

Алексей Георгиевич не сразу заметил, что Пеструшка вызывает у него жалостливое, сердобольное чувство, а не только обычный деловой, многоплановый интерес.

Как-то, глядя на подопытную собаку, он подумал, что обыденная для тысяч и тысяч птичник, свинарей привязанность к животным, которых они готовят к смертной, казни, - нелепа, безумна. И столь же безумны, нелепы были эти добрые собачьи глаза, этот влажный нос, доверчиво тычущийся в руку убийцы.

Шли дни, приближалось исполнение дела, к которому готовили Пеструшку. Она проходила испытания в просторной кабине - контейнере; сверхдальнее путешествие четвероногого предшествовало длительному и дальнему полету человека.

Алексей Георгиевич пользовался дружной нелюбовью своих подчиненных. Некоторые научные сотрудники сильно побаивались его - он был вспыльчив, случалось, принимал в отношении работников лаборатории жестокие дисциплинарные меры. Старшее начальство не любило его за склонность к тягбам и злопамятность.

Дома он тоже не был легким человеком - у него часто болела голова, и тогда малейший шум раздражал его. Из-за недостатка кислот он страдал изжогой, и ему казалось, что кормят его не так, как нужно, что жена невнимательна к нему и тайно от него помогает своим многочисленным родственникам.

И с друзьями у него были не легкие отношения - он часто вспыхивал, подозревал друзей в равнодушии, завистливости. Поссорившись с другом, он страдал, потом начинал мириться, мучительно выяснял запутавшиеся отношения.

Но и к самому себе Алексей Георгиевич относился без обожания и восторга. Иногда он кисло бормотал: "Ох, и надоел же я всем, и прежде всего самому себе".

Кривоногая дворняга не участвовала в служебных интригах, не пренебрегала его здоровьем, не проявляла зависти.

Она, подобно Христу, платила ему добром за зло, любовью за страдания, что он приносил ей.

Он просматривал электрокардиограммы, данные о кровяном давлении и рефлексам, а на него преданно глядели карие собачьи глаза. Однажды он вслух стал объяснять ей, что подобные тренировки проходят и люди, им тоже нелегко; риск, предстоящий ей, конечно, больше того риска, с которым столкнется человек, но ведь ее положение несравнимо с положением собаки Лайки, чья гибель была предreshена.

А однажды он сказал Пеструшке, что она первая за все время существования жизни на земном шаре увидит истинную космическую глубину. Ей выпала дивная судьба! Вторгнуться в мировое пространство, стать первым посланником свободного разума во Вселенной.

Ему казалось, что собака понимает его.

Она была необычайно умна, по-своему, по-собачьи, конечно. Лаборанты и служители шутили: "Наша Пеструшка сдала техминимум". Она легко существовала среди научной аппаратуры, казалось, понимала принципы приборов и потому так поворотливо ориентировалась в мире клемм, зажимов, экранов, электронных ламп, автоматических кормушек.

Алексей Георгиевич как никто умел высосать, выжать совокупную картину жизнедеятельности организма, летящего за тысячи километров от земных лабораторий в пустом пространстве.

Он был одним из основателей новой науки - космической биологии. Но на этот раз его не увлекала сложность задачи. С кривоногой Пеструшкой все получалось не по-обычному.

Он всматривался в глаза собаки. Эти добрые собачьи глаза, а не глаза Нильса Бора первыми увидят мировое пространство, не ограниченное земным горизонтом. Пространство, в котором нет ветра, одна лишь сила тяготения, пространство, в котором нет облаков, ласточек, дождя, пространство фотонов и электромагнитных волн.

И Алексею Георгиевичу казалось, что глаза Пеструшки перескажут ему, что видели. Он прочтет, он поймет самую тайную из кардиограмм, сокровенную кардиограмму мироздания.

Казалось, собака инстинктом ощущала, что человек приобщил ее к самому большому, что происходило на земле за все времена истории, предоставил ей великое первенство.

Начальники и подчиненные Алексея Георгиевича, его домашние и друзья замечали в нем странные изменения - никогда он не был таким уступчивым, мягким, грустным.

Новый опыт будет особым. Различие его от предыдущих не только в том, что космический снаряд пренебрежет круговой орбитой, врежется в пространство, уйдет от земли на сотню тысяч километров.

Главным в новом опыте будет то, что животное вторгнется в космос своей

психикой. Нет! Обратное! Космос вторгнется в психику живого существа. Тут дело уже не в перегрузке, не в вибрациях, не в ощущении невесомости.

Вот перед этими глазами земная прямизна начнет искривляться, глаза животного подтвердят прозрение Коперника. Шар! Геоид! И дальше, дальше... Омоложенное солнце, сбросив два миллиарда лет, встанет из черного простора перед глазами криволапой сучки. В оранжевом, сиреневом, фиолетовом пламени уйдет земной горизонт. Дивный шар в снегах и горячих песках, полный чудной, беспокойной жизни уплывет не только из-под ног, ускользнет из жизненного ощущения животного. И тогда звезды обретут телесность, обрастут термоядерным мясом, горящим и светящимся веществом.

В психику живого существа вторгнется царство, не прикрытое земным теплом, мягкостью кучевых облаков, влажной силой флогистона. Впервые живые глаза увидят безвоздушную бездну, пространство Канта, пространство Эйнштейна, пространство философов, астрономов и математиков не в умопознании, не в формуле, а таким, какое оно есть, без гор и деревьев, высотных зданий и деревенских изб.

Окружавшие Алексея Георгиевича люди не понимали того, что происходит с ним.

Ему казалось, что он открывает новое познание, выше того, что рождается в дифференциальных уравнениях и показаниях приборов. Новое познание шло от души к душе, от живых глаз к живым глазам. И все то, что волновало его, сердило, вызывало его подозрения и злобу, перестало значить.

Ему казалось: новое качество готовилось войти в жизнь земных существ, обогатить и возвысить ее, и в этом новом было прощение и оправдание Алексея Георгиевича.

3

И вот полет совершился.

Животное ушло в прорубь пространства. Иллюминаторы и экраны были устроены так, что животное, куда бы ни поворачивалась его голова, видело одно лишь пространство, теряло ощущение земной привычности. Вселенная вторгалась в мозг собаки, сучки.

Алексей Георгиевич был убежден, что связь его с Пеструшкой не порывается, он ощущал ее и когда корабль был отдален от земли на сто тысяч километров. И дело тут не в телеметрии и не в радиоавтоматике, регистрировавших бешеное ускорение пульса Пеструшки, прыжки ее кровяного давления.

Лаборант Апресьян утром доложил Алексею Георгиевичу:

- Она выла, долго выла, - и добавил негромко: - Жутко, во Вселенной воет одинокая собака.

Приборы сработали с идеальной, прямо-таки фантастической точностью. Ушедшая в пространство песчинка нашла путь к земле-песчинке, породившей ее. Тормозные устройства сработали безотказно, контейнер приземлился на заданной точке земной поверхности.

Лаборант Апресьян, улыбаясь, сказал Алексею Георгиевичу:

- Удары неких космических частиц перестроят Пеструшкины гены, и щенки у нее пойдут с выдающимися способностями в области высшей алгебры и симфонической музыки. Кобельки, внуки нашей Пеструшки, будут создавать сонаты не хуже бетховенских, конструировать кибернетические машины - новых Фаустов.

Алексей Георгиевич ничего не сказал шутнику Апресьяну.

Алексей Георгиевич сам поехал к месту приземления космического контейнера.

Он должен был первым увидеть Пеструшку. Его заместители и помощники на этот раз не могли заменить его.

Они встретились так, как хотел того Алексей Георгиевич.

Она бросилась к нему, робко повиливая кончиком опущенного хвоста.

Он долго не мог увидеть глаз, вобравших в себя мироздание. Собака лизала его руки в знак своей покорности, в знак вечного отказа от жизни свободной странницы, в знак примирения со всем, что есть и будет.

Наконец, он увидел ее глаза - туманные, непроницаемые глаза убогого существа с помутившимся разумом и покорным любящим сердцем.

1960-1961

Приложение 2.

THE DOG

1.

Her childhood was hungry and homeless; nevertheless, childhood is the happiest time of life. Her first May—those spring days on the edge of town—was especially good. The smell of earth and young grass filled her soul with happiness. She felt a piercing, almost unbearable sense of elation; sometimes she was too happy even to feel like eating. All day long there was a warm green mist in her head and her eyes. She would drop down on her front paws in front of a dandelion and let out happy, angry, childish, staccato yelps; she was asking the flower to join in and run about with her, and the stillness of its stout little green leg surprised her and made her cross.

And then all of a sudden she would be frenziedly digging a hole; clods of earth would fly out from under her little belly, and her pink and black paws would get almost burnt by the stony earth. Her little face would take on a troubled look; she seemed not to be playing a game, she seemed to be digging a refuge, digging for dear life.

She had a plump, pink belly and her paws were broad, even though she ate little during that good time of her life. It was as if she were growing plump from happiness, from the joy of being alive.

And then those easy childhood days came to an end. The world filled with October and November, with hostility and indifference, with icy rain and sleet, with dirt, with revolting slimy leftovers the smell of which was nauseating even to a hungry dog.

But even in her homeless life there were good things: a compassionate human face, a night spent close to an underground hot-water pipe, a sweet bone. There was room in her dog's life for passion, and dog love, and the light of motherhood.

She was a small bandy-legged mongrel living out on the streets. But she got the better of all hostile forces because she loved life and was very clever. She knew from which side trouble might creep up on her. She knew that death did not make a lot of noise or raise its hand threateningly, that it did not throw stones or stamp about in boots; no, death drew near with an ingratiating smile, holding out a scrap of bread and with a piece of net sacking hidden behind its back.

She knew the murderous power of cars and lorries and had a precise knowledge of their different speeds; she knew how to wait patiently while the traffic went by, how to rush across the road when the cars were stopped by a red light. She knew the forward-sweeping, all-destroying force of electric trains, and their

childish helplessness: as long as it was a few inches away from the track, even a mouse was safe from them. She knew the roars, whistles and rumbles of jet and propeller planes, as well as the racket of helicopters. She knew the smell of gas pipes; she knew where she might find the warmth given off by hot water pipes running under the ground. She knew the work rhythm of the town's garbage trucks; she knew how to get inside garbage containers of all kinds and could immediately recognize the cellophane wrapping around meat products and the waxed paper around cod, rockfish and ice cream.

A black electric cable sticking up out of the earth was more horrifying to her than a viper; once she had put a damp paw on a cable with a broken insulating jacket.

This dog probably knew more about technology than an intelligent, well-informed person from three centuries before her.

It was not merely that she was clever; she was also educated. Had she failed to learn about mid-twentieth-century technology, she would have died. After all, dogs that wandered into the city from some village or other often lasted only a few hours.

But nor were technological knowledge and experience enough; no less crucial for her struggle was an understanding of the essence of life. She could not have survived without worldly wisdom.

This clever, nameless mongrel knew that the foundation stone of her life was vagrancy – perpetual change.

Now and again some tenderhearted person would show pity to the four-legged wanderer. They would give her scraps of food and find her somewhere to sleep on the back stairs. But if she were to betray her vagrant ways, she would have to pay with her life. Were she to settle down, the dog would make herself dependent on one kind-hearted person and a hundred unkind people. And then death would creep up on her, with a scrap of bread in one hand and a piece of net sacking in the other. A hundred unkind hearts have more power than one kind heart.

People thought that the canine wanderer was incapable of devotion, that vagrancy had corrupted her.

They were wrong. It was not that her difficult life had hardened the heart of the wandering dog; it was simply that no-one needed the good that lived in this heart.

2.

She was caught at night, while she was asleep. Instead of being killed, she was taken to a scientific institute. She was bathed in some warm, stinking liquid; after this, she had no more trouble from fleas. For several days she lived in a basement, in a cage. She was fed well, but she did not feel like eating. She missed her freedom, and she was haunted by a sense of imminent death. Only here, in this cage with warm bedding, with tasty food in a clean bowl, did she first truly value the happiness of her days of freedom.

She felt irritated by the stupid barking of her neighbours. People in white gowns examined her at length. One of them, a thin man with bright eyes, flicked her on the nose and patted her on the head. Then she was taken to another, quieter room.

She was about to be introduced to the most advanced technology of the twentieth century; she was about to be prepared for something momentous.

She was given the name 'Pestrushka': 'Speckles'.

Probably not even sick emperors or prime ministers had ever undergone so many medical tests. Thin, bright-eyed Aleksey Georgievich learned everything there was to know about Pestrushka's heart, lungs, liver, pulmonary gas exchange, blood composition, nervous reflexes and digestive juices.

Pestrushka realized that neither the cleaners, nor the laboratory assistants, nor the generals covered in medals were the masters of her life and death, of her freedom, of her last agony.

She understood this, and her heart gave all its still unspent love to Aleksey Georgievich, and no horror from her past or present could do anything to harden her against him.

She understood that everything – the injections and abdominal taps, the dizzying and nauseating journeys in centrifuges and vibration chambers, the aching sense of weightlessness that suddenly poured into her consciousness, into her front paws and her tail, into her chest and her back paws – she understood that all of this was the doing of her master, Aleksey Georgievich.

But this understanding made no difference. She was always waiting for the master she had found; she pined when he was not there; she was overjoyed to hear his footsteps; and when he went away in the evening her brown eyes seemed to moisten with tears.

After an especially difficult morning training session Aleksey Georgievich usually visited Pestrushka's living quarters. Panting, her tongue hanging out, her large head resting on her front paws, Pestrushka would look meekly up at him.

In some strange and incomprehensible way this man who had become the master of her life and fate was mixed up with her sense of that green spring mist, with the sensation of freedom.

She looked at the man who had doomed her to imprisonment and suffering, and what sprang up in her heart was hope.

Aleksey Georgievich took some time to realize that he felt pity and tenderness towards Pestrushka, that he was not simply taking his usual interest in a project's practical details.

Once, looking at a laboratory dog, he had thought how crazy and absurd it was that people who rear animals – millions of them, all over the world – should feel devoted love for the pigs and chickens they were preparing for execution. Now he felt that these kind eyes, this damp nose pressed trustfully into the hand of a murderer, were no less crazy and absurd.

Time passed; soon it would be the day of Pestrushka's journey. She was now undergoing experiments in the space capsule itself. A four-legged creature was preparing the way for man; her journey into the far distance was a rehearsal for man's furthest and longest flight.

Aleksey Georgievich was disliked by all his subordinates. Some were extremely frightened of him; he was short-tempered, and he often treated his laboratory assistants harshly. His superiors also disliked him – because of his rancour and his predilection for drawn-out disputes.

Nor was he easy to get on with at home; often he had severe headaches and would feel irritated by the slightest noise. He also suffered from heartburn and he believed that his wife did not give him the right diet, that instead of taking proper care of her husband she was secretly doing all she could for her countless relatives.

His friendships were no easier; he was always losing his temper, suspecting friends of envy and indifference. He would quarrel with them, feel upset and then have to struggle to make peace with them again.

Aleksey Georgievich was no less harsh with regard to himself. Sometimes he would mutter sourly, 'Yes, everybody's fed up with me, and there's nobody more fed up with me than I am myself.'

The bandy-legged mongrel took no part in laboratory intrigues, could not be accused of failing to look after Aleksey Georgievich properly and seemed free of envy.

Like Christ, she returned good for evil, paying him back with love for the suffering he caused her.

He examined electrocardiograms, or analyses of blood pressure or reflexes, and the dog's brown eyes gazed at him devotedly. Once he began explaining out loud to her that people went through the same training and that they found it difficult too. It was true, he went on, that the risks she was being exposed to were greater than the risks to which a human being would be exposed; nevertheless, she was infinitely better off than poor Laika, whose death in space had been a foregone conclusion.ⁱ

Once he said to Pestrushka that she would be the first creature, since life had begun on earth, to glimpse the true depth of the cosmos. A wonderful fate had befallen her. She was about to penetrate cosmic space – the first envoy of free reason to be sent out into the universe.

The dog seemed to understand him.

She was unusually clever – in her canine way, of course. The laboratory assistants and cleaning staff used to joke: 'Our Pestrushka must have completed elementary technology!' Life amid scientific apparatus was not difficult for her; it was as if she understood the principles behind the various appliances and therefore had no trouble finding her bearings in a world of clamps, screens, electron tubes and automatic feeders.

More than anyone, Aleksey Georgievich had the ability to summon up a complete picture of the vital functions of an organism flying through empty space, thousands of miles from any terrestrial laboratory.

He was one of the founders of a new science: cosmic biology. This time, however, he was not just entranced by the complexity of the project; bandy-legged Pestrushka had somehow made everything a little different.

He would look into the dog's eyes. These kind eyes, not the eyes of Niels Bohr, would be the first to look into the cosmos, to see cosmic space not limited by the earth's horizon. A space with no wind and only weak gravitational forces, a space where there was no rain, no clouds, no swallows, a space of photons and electromagnetic waves.

And it seemed to Aleksey Georgievich that Pestrushka's eyes would be able to tell him what they had seen. And he would read and understand that most arcane of cardiograms, the secret cardiogram of the universe.

The dog seemed to understand by instinct that this man was allowing her to take part in the greatest event in earth's history, that he was allowing her the leading role in a drama of unparalleled importance.

Everyone who knew Aleksey Georgievich – superiors and subordinates, family and friends – everyone was aware of strange changes in him; never had he been so easy, so gentle, so sad.

This new experiment was special. It was not merely that the capsule, disdaining the ease of orbit, would pierce deep into space and leave the earth a hundred thousand kilometres behind. No, what was special was the presence of a living being, penetrating the cosmos with her psyche. Or rather the other way round – the cosmos would penetrate the psyche of a living being. This was what mattered – not just questions of overload, vibrations, the sensation of weightlessness.

Before these very eyes the earth's flat surface would begin to curve; the eyes of an animal would confirm the truth of Copernicus's vision. A globe! A geoid! And more, much more. A younger sun, throwing off

the weight of two billion years, would rise up out of black space before the eyes of a small, bandy-legged bitch. Earth's horizon would slip away – in orange, lilac and violet flame. That miraculous globe covered in snow and burning sand, full of wonderful, restless life, would not only slip away from under the dog's feet – it would slip right out of her field of sensual awareness. Then the stars would acquire body; they would grow thermonuclear flesh – brilliant, burning substance.

The psyche of a living creature would be penetrated by another kingdom – a kingdom not covered by the warmth of the earth, by soft cumulus clouds, by the damp power of phlogiston.ⁱⁱ Living eyes would see for the first time the airless abyss, the space of Kant, the space of Einstein, the space of philosophers, astronomers and mathematicians; they would see this space not through speculation, not in the guise of a formula, but as it truly is – without mountains or trees, without skyscrapers or village huts.

No-one around Aleksey Georgievich could understand what was happening to him.

To Aleksey Georgievich it seemed that he was discovering a new form of knowledge, higher than the knowledge derived from differential equations and the testimony of instruments. This new knowledge was transferred from soul to soul, from living eyes to living eyes. And everything that disturbed or angered him, that aroused his suspicion or spite, had somehow ceased to matter.

It seemed to him that a new quality was about to enter the life of terrestrial beings, enriching this life and elevating it – and that this new quality would bring with it forgiveness and justification for Aleksey Georgievich himself.

3

The space ship took off.

As if through a hole in the ice, an animal plunged into space. The windows and screens were arranged in such a way that, wherever it turned its head, the animal saw only space, losing all sense of what was earthly and familiar. The universe was penetrating the brain of a dog, of a young bitch.

Aleksey Georgievich was convinced that his connection with Pestrushka remained unbroken; he could feel this connection even when the capsule was a hundred thousand kilometres from earth. And this had nothing to do with the automatic radio signals telling him about Pestrushka's racing pulse and the sudden jumps in her blood pressure.

The following morning, laboratory assistant Apresyan said to him, 'She was howling. She was howling for a long time.' He added quietly, 'It's scary – a solitary dog, alone in the universe, howling.'

The instruments all worked with total, unbelievable accuracy. The grain of sand that had gone out into space found its way back to the earth, to the grain of sand that had given birth to it. The braking systems worked flawlessly; the capsule landed on the chosen point of the earth's surface.

Apresyan smiled and said to Aleksey Georgievich, 'The impact of certain cosmic particles will have restructured Pestrushka's genes and she'll have puppies with outstanding creative ability for everything in the realm of higher algebra and symphonic music. The grandsons of our Pestrushka will compose sonatas as good as Beethoven's. They'll construct cybernetic machines that will be new Fausts.'

Aleksey Georgievich did not reply to this joker.

Aleksey Georgievich himself travelled to where the capsule had landed. He had to be the first to see Pestrushka; this time no deputy or assistant could go in his place.

Their meeting was everything Aleksey Georgievich had hoped it would be.

She rushed at him, shyly wagging the tip of her lowered tail.

For a long time he was unable to see the eyes that had taken in the universe. The dog kept licking his hands as a sign of obedience, a sign of her eternal renunciation of the life of a free wanderer, a sign of her acceptance of everything that was and will be.

Eventually, however, he saw her eyes – the misty, impenetrable eyes of a poor, beggarly creature with an agitated mind and an obedient, loving heart.ⁱⁱⁱ

ⁱ Laika (the word means ‘Barker’), the first living creature to enter orbit, was launched into space on Sputnik 2 on 3 November, 1957. She died earlier than expected. During the 1950s and 1960s Soviet research scientists subjected a number of dogs to sub-orbital and orbital flights. Most were stray bitches from the streets of Moscow; it was thought that strays would be better able to tolerate the stresses of flight. Bitches were chosen because they were considered more patient and because they did not need to cock a leg to urinate. The dogs’ ‘training’ included having to stand still for long periods, wearing space suits, riding in centrifuges that simulated the acceleration of a rocket launch and being kept in progressively smaller cages to prepare them for confinement in a space capsule. Dogs that flew in orbit were fed a nutritious gel.

ⁱⁱ According to a once widely held scientific theory, disproved by Lavoisier in the eighteenth century, all flammable materials contain phlogiston (the word is derived from the Greek *phlogistos*, meaning ‘flammable’), a substance without colour, odour, taste or weight that is liberated in burning.

ⁱⁱⁱ Written 1960–61; first published in the journal *Literaturnaya Rossiya*, 1966). The downbeat final sentence was omitted in this first publication; an editor, or censor, was evidently trying to make the story sound more optimistic. This sentence has been omitted in at least one recent Russian publication of the story, but there is no doubt that Grossman intended it to remain. See Bocharov, *op. cit.*, p. 314